

ПОЭТИКА ГИПОМАНИИ

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПРИГОВА

В.П. РУДНЕВ*

*В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал, недвижим, я...
Я — Пригов Дмитрий Александрович...*

<Вместо аннотации>

Традиционно считается, что гипомания — просто обратная сторона депрессии. На наш взгляд, это не совсем так. Например, известно со времен статьи Фрейда «Скорбь и меланхолия», что главным механизмом защиты при депрессии является интроекция. Если бы гипомания была простым переворачиванием депрессии, то тогда логично было бы предположить, что основным механизмом защиты при гипомании должна быть проекция. Но это не соответствует действительности. Проекция господствует у эпилептоидов и параноиков. Депрессия и гипомания имеют родственную черту — оральность [оральную фиксацию — и при депрессии, и при гипомании человек может очень много есть, жевать, курить, пить (хотя может быть и наоборот — и в том, и в другом случае)]. Считается также, что время при гипомании является простой противоположностью времени при депрессии. При депрессии время ползёт медленно, его надо «убивать», а при гипомании — быстро. В статье показано, что все гораздо сложнее, и основная идея работы заключается в следующем тезисе: при депрессии время имеет линейный характер (сукцессивность), а при гипомании господствует одновременность (симультанность).

Простой пример из книги Андре Моруа «Три Дюма» (Александр Дюма-старший был пожизненным гипоманом-гипертимиком):

Дюма протягивал гостю левую руку, правой продолжая писать, и приглашал его к обеду. (Андре Моруа. «Три Дюма».)

При гипомании человеку хочется делать сразу несколько дел: одновременно читать и писать, лежать, ходить и бегать, читать сразу несколько книг, любить сразу нескольких женщин и т.д.

* Руднев Вадим Петрович — филолог, философ, семиотик, доктор филологических наук.

Так, в романе Дюма «Три мушкетера» д'Артаньян, как правило, дерется со шпагой в руке одновременно с несколькими гвардейцами кардинала. В начале романа он готов драться одновременно с Атосом, Портосом и Арамисом. Он в одну и ту же ночь спит с «миледи» и ее служанкой.

И только сукцессивная структура времени не позволяет гипоману делать все одновременно. Но об этом подробно ниже. А сначала все же о депрессии.

Психодинамическая основа депрессии — утрата любимого объекта. Семиотический фундамент депрессии — обесмысленность внешнего мира. Для депрессивного человека мир теряет всякий интерес, поскольку депрессивная личность полностью сосредоточивается на интроецированном потерянном объекте любви и на своей фантазматической вине перед ним. Этот единственный объект и обладает повышенной ценностью для меланхолика. Ценностью, но не знаковостью, поскольку этот объект помещается где-то внутри, как бы проглоченный целиком.

В истории философии и науки существуют две хорошо разработанные и противоположные друг другу модели времени с четкой прямой хронологией. Первую разработал Блаженный Августин. Она соотносится с христианской драмой и является в высшей степени семиотической моделью. Здесь время движется к определенной цели — Второму Пришествию Христа и Страшному Суду. Это время можно назвать шизоидным временем. Противоположная модель времени — естественно-научная — была разработана в связи с открытием второго начала термодинамики — ее обследовал в конце XIX в. Л. Больцман, а в XX веке — Г. Рейхенбах. Суть этой естественнонаучной модели в том, что время направлено в сторону увеличения энтропии, в сторону разрушения и угасания всех процессов распада и хаоса. Это и есть депрессивное время. Его суть наиболее образно выразил в своем последнем стихотворении Державин:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Шизоидно-семиотическое сознание не согласилось бы с тезисом, в соответствии с которым то, «что остается чрез звуки лиры и трубы», подвластно такому же энтропийному разрушению, как и все природное. Текст с точки зрения шизоидного сознания вечен, культура вечна. Однако для того, чтобы воспринимать культуру как нечто ценное, необходимо, чтобы семиотический смысловой канал в сознании был актуализирован. Этого у депрессивной личности как раз и нет. Она воспринимает не вещи как знаки, а наоборот, скорее знаки как вещи, поэтому культура текста для такого сознания лишается ценностного семиотического содержания и автоматически записывается в разряд вещей, подверженных уничтожению.

По логике вещей гипомания как обратная сторона депрессии должна быть повышено знаковой. Однако, как мы покажем ниже, это совершенно не так.

Противопоставление симультанного сукцессивному, последовательного — одновременному, — одно из важнейших в нашей картине мира. Пространство симультанно — все вещи в нем расположены одновременно. Однако чтобы их обозреть, требуется время, которое сукцессивно. Когда-то Роман Ингарден остроумно заметил, что архитектура — это временное искусство: для того чтобы полностью эстетически «охватить» памятник архитектуры, надо обойти его со всех сторон.

Таким образом, в нашем восприятии мира симультанное и сукцессивное присутствуют на равных правах. Как понял еще Витгенштейн в «Логико-философском трактате», мы оперируем *не вещами, а фактами*, то есть тем, что *происходит с вещами*:

1. Мир — это все, чему случается быть.

1.1. Мир — совокупность Фактов, но не Вещей.

1.1.1. Мир определен посредством Фактов и благодаря тому, что все они являются Фактами.

1.1.2. Ибо именно совокупность Фактов определяет то, чему случается, а чему не случается быть.

1.1.3. Факты в логическом пространстве и составляют Мир.

1.2. Мир раскладывается на факты.

1.2.1. Им может случаться быть или не быть, все прочее остается прежним.

То, что в гипомании симультанность преобладает над сукцессивностью, говорит, что сознание гипертимного человека ориентировано именно на вещи, а не на факты. Это парадоксальный вывод, потому что кажется, что при гипомании с человеком происходит множество

событий (фактов), но большинство этих событий-фактов иллюзорно. Это особенно очевидно при психотической мании, при *мегаломании*, то есть бреде величия, когда больной отождествляет себя с целым рядом персонажей:

Я величественнейшее величие — я довольна собой — здание клуба “Zug platte” — изящный ученый мир — артистический мир — одежда музея улиток — моя правая сторона — я Натан мудрый (weise) — нет у меня на свете ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер — сирота (Waise) — я Сократ — Лорелея — колокол Шиллера и монополия — Господь Бог, Мария, Матерь Божья — главный ключ, ключ в небесах — я всегда узакониваю книгу гимнов с золотыми обрезами и Библию — я владельница южных областей, королевски миловидна, так миловидна и чиста — в одной личности я совмещаю Стюарт, фон Муральт, фон Планта — фон Кугель — высший разум принадлежит <...> я Германия и Гельвеция из сладкого масла — это жизненный символ — я создала величайшую высшую точку — я видела книгу страшно высоко над городским парком, посыпанную белым сахаром — высоко в небе создана высочайшая высшая точка — нельзя найти никого, кто бы указал на более могущественный титул (Юнг, 2000 <1907>, с. 124).

Ср. у Державина:

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества; <...>
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю.
Я царь, — я раб, — я червь, — я Бог.

В эксцентрической форме русского концептуализма эта идея всеобъемлющего Я выражена в стихотворении поэта-концептуалиста Владимира Друка:

иванов — я / петров — я / сидоров — я / так точно — тоже я / к сожалению — я / видимо — я / видимо-невидимо — я / в лучшем случае — я / в противном случае — тоже я / в очень противном случае — опять я / здесь — я, тут — я / к вашим услугам — я / рабиндранат тагор — я / конгломерат багор — я / дихлоретан кагор — я / василиса прекрасная — если не ошибаюсь / я там, где не вы — я там, где не я / чем более я тем менее я / тем не менее — я / И КТО ЕСЛИ НЕ Я? / Я ЕСЛИ НЕ Я? / Расслабьтесь, / это я пришел...

В чем отличие клинического примера из раннего Юнга и фрагментов из Державина и Друка?

Мы будем называть в дальнейшем базовое отождествление, которое лежит в основе бреда величия, построение типа “Я = X” (Я — Иисус Христос, я — испанский король, я — Сократ, я — вице-король Индии и т.п.) *экстрактивной идентификацией* в качестве развития введенного ранее термина экстраекция¹. Экстрактивная идентификация — это такое состояние сознания субъекта, при котором его собственное Я переживается как неотъемлемо присущее объективно не присущему ему имени или дескрипции, такое состояние, когда субъект в бредовом смысле “превращается в другого человека”, несопоставимо более высокого по социальному рангу, и пытается вести себя так, как если бы он был этим человеком.

Понимаемая таким образом экстрактивная идентификация характерна исключительно для бреда величия, но поскольку понятие идентификации является одним из часто употребляемых в психоанализе и психоаналитически ориентированной психологии и психиатрии, то нашим дальнейшим шагом будет разграничение понятий “экстрактивная идентификация”, “интроективная идентификация” (которую обычно просто называют идентификацией) и “проективная идентификация”.

Под интроективной идентификацией понимается такое состояние сознания, при котором субъект уподобляет себя значимому объекту, сохраняя при этом понимание отдельности своего собственного Я. Для интроективной идентификации в этом смысле характерны такие выражения, как “Я хочу быть похожей на мать”, “Я истинный сын своего отца”, “Моя жена для меня все” и даже “Я — это Вы” (фраза, якобы сказанная Людвигу Витгенштейну его другом архитектором Адольфом Лоосом). Даже при формальном выражении тождества подлинное отождествление при интроективной идентификации не имеет места, это отождествление на самом деле является всего лишь уподоблением.

Под проективной идентификацией понимается такое состояние сознания, при котором Я отождествляет объект, с которым находится в коммуникации (например, психоаналитика или сексуального партнера) с одним из первичных объектов (отцом или матерью) и принуждает его вести себя так, как если бы он был этим объектом. Таким образом,

¹ Психотический механизм защиты, суть которого состоит в том, что внутренние психологические содержания переживаются субъектом как внешние физические явления, якобы воспринимающиеся одним или сразу несколькими органами чувств — экстенционально это совпадает с иллюзиями и галлюцинациями разной природы.

формула проективной идентификации — это “Вы совсем как мой отец”, “Ты вылитая моя старшая сестра Мэри”.

Стало быть, когда идентификация интроективна, она характеризуется, прежде всего, невротический уровень сознания, при котором объектные отношения не разрушены и критика сохранена; когда идентификация проективна, она характеризует преимущественно пограничный уровень сознания, при котором объектные отношения значительно искажены и критика присутствует не полностью, но тестирование реальности сохраняется; когда же имеет место экстраективная идентификация, то это означает полную разрушенность объектных отношений, отсутствие критики и тестирования реальности, то есть психоз.

При интроективной идентификации Я и объект сохраняют свою идентичность, акцентуируется только зависимость Я от объекта-инт-роекта. При проективной идентификации сохраняется идентичность Я, но искажается идентичность объекта. При экстраективной идентификации реальные объекты исчезают из жизни субъекта, на их место становятся бредово-галлюцинаторные экстраективные объекты, и, что наиболее существенно, собственное Я разрушается и практически перестает быть таковым, растворяясь в бредовом экстраективном объекте.

Итак, в случае с пациенткой Юнга мы имеем дело с экстраективной идентификацией; в случае Державина — с пограничной проективной идентификацией²; в случае с Владимиром Друком, совершенно здоровым сангвиником, мы имеем дело с интроективной идентификацией.

Второе фундаментальное различие — между языком (*langue*) и речью (*parole*) по Фердинанду де Соссюру. Язык — это абстрактная *система*, в ней все существует одновременно — в воображаемом *пространстве* сознания потенциального говорящего все парадигмы склонений и спряжений, весь лексический состав, — все это существует симультанно. Другое дело — речь, она разворачивается во времени и поэтому существует сукцессивно. Однако реально в речевой деятельности (термин Л.Б.Щербы; по Соссюру — *langage*) мы имеем дело одновременно с языком и речью (по Хомскому, *competence* и *performance*) — как ме-

² Державин понимал, конечно, что на самом деле он не царь и не Бог, но он имел тесные контакты с императрицей Екатериной Второй, будучи ее советником, и говорил ей в глаза резкие и неприятные вещи («истину царям с улыбкой говорил») и «в сердечной простоте беседовал о Боге» (написал знаменитую оду «Бог»).

диаторе между ними, то есть в реальном развертывании речевого акта и речевого поведения в целом сукцессивность сосуществует с симультанностью (чтобы *говорить*, надо знать *язык*, на котором говоришь).

Мы все знаем, что навязчивые состояния характеризуются *повторением* (Руднев, 2008). То есть при obsессии речь ретардируется и все время возвращается назад (ср. известный пример из Хармса):

Дорогой Никандр Андреевич,
получил твое письмо и сразу понял, что оно от тебя. Сначала подумал, что оно вдруг не от тебя, но как только распечатал, сразу понял, что от тебя, а то, было, подумал, что оно не от тебя. Я рад, что ты уже давно женился, потому что когда человек женится на том, на ком он хотел жениться, то значит, он добился того, чего хотел. И вот я очень рад, что ты женился, потому что когда человек женится на том, на ком он хотел, то значит, он добился того, чего хотел. Вчера я получил твое письмо и сразу подумал, что это письмо от тебя, но потом подумал, что кажется, что не от тебя, но распечатал и вижу — точно от тебя).

Соответственно время становится циклическим и симультанность преобладает над сукцессивностью. *Формально* в гипертимном дискурсе может происходить то же самое:

- Кто там стучится в поздний час? «Конечно, я — Финдлей!»
- Ступай домой. Все спят у нас! «Не все!» — сказал Финдлей.
- Как ты прийти ко мне посмел? «Посмел!» — сказал Финдлей.
- Небось наделаешь ты дел... «Могу!» — сказал Финдлей.
- Тебе калитку отвори... «А ну!» — сказал Финдлей.
- Ты спать не дашь мне до зари! «Не дам!» — сказал Финдлей.
- Попробуй в дом тебя впустить... «Впусти!» — сказал Финдлей.
- Всю ночь ты можешь прогостить. «Всю ночь!» — сказал Финдлей.
- С тобою ночь одну побудь... «Побудь!» — сказал Финдлей.
- Ко мне опять найдешь ты путь. «Найду!» — сказал Финдлей...

Различие между гипертимным *перечислением* и obsессивным повторением заключается в том, что при obsессии господствует *навязанная эго-дистонность* (чуждость сознанию) повторяющейся констелляции, а при гипертимии — это *эго-синтонный* радостный *припев* или *рефрен*:

Трёх королей разгневал он,
И было решено,
Что навсегда погибнет Джон Ячменное Зерно. <...>
Травой покрылся горный склон,
В ручьях воды полно,
А из земли выходит Джон Ячменное Зерно. <...>

Он был в колодец погружен,
На сумрачное дно.
Но и в воде не тонет Джон Ячменное Зерно. <...>
Не высыхает дно
В бочонке, где клокочет Джон Ячменное Зерно!

Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.
При всем при том,
При всем при том,
Пускай бедны мы с вами,
Богатство —
Штамп на золотом,
А золотой —
Мы сами!
Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем
И все такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют
И все такое прочее.
При всем при том,
При всем при том,
Судите не по платью.
Кто честным кормится трудом,
Таких зову я знатю, <...>
Настанет день и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте.
При всем при том,
При всем при том,
Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья!
(Роберт Бёрнс — Самуил Маршак)

Рефренообразный (или припевообразный) тип повторения встречается и в депрессивном дискурсе, но там он приобретает традиционный характер обсессивного эго-дистонного повторения, функция ко-

торого — снятие или хотя бы «урезание» тревоги. Ср. знаменитую «Ошибку» А.Галича:

Мы похоронены где-то под Нарвой,
 Под Нарвой, под Нарвой,
 Мы похоронены где-то под Нарвой,
 Мы были — и нет.
 Так и лежим, как шагали, попарно,
 Попарно, попарно,
 Так и лежим, как шагали, попарно,
 И общий привет! <...>
 Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
 В нашивках, в нашивках,
 Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
 В снежном дыму.
 Смотрит и видим, что вышла ошибка,
 Ошибка, ошибка,
 Смотрит и видим, что вышла ошибка
 И мы — ни к чему!

Поэтика рефрена и перечисления. Это ненавязчивая инвентаризация всех предметов мира. Наплевать на то, что они значат — вещи, их ценность не зависит от их семиозиса. Бытие и так наполнено значением и смыслом. И парадоксальным образом гипоман убегает от смысла, слишком ему досталось от поисков смысла в депрессии, отсюда так называемые «неоплаканные потери» — просто не думать о них! Выходит, гипомания так же обесмыслена и контрсемиотична, как и депрессия. Так, но не совсем. Смысл — есть, он в том, чтобы есть, пить, любить, ходить в рестораны, угощать друзей, запойно писать книги. Гипомания — бегство от смысла, «бегство в здоровье», в то время как депрессия — это поиски смысла, «бегство в болезнь».

Гипоман не может создать в гипомании великого произведения, если он, конечно, не шизофреник, — ему это просто не нужно. К тому же, и то и другое бесполезно. *Смысла — нет!* Витгенштейн:

6.521. Решение проблемы жизни заключается в исчезновении этой проблемы. (Не это ли причина того, что люди, которым стал ясен Смысл жизни после долгих сомнений, все-таки не могли сказать, в чем этот Смысл состоит.)

Депрессия и гипомания на одной стороне — против нормы, против сорокинской «нормальной жизни» (см. роман «Норма»).

Симультанность — в данном случае одновременное существование в различных состояниях сознания, когда реальность раздвигается и

человек с трудом распознает свое подлинное положение вещей (то есть в случае настоящей мании (а не гипомании) перестает тестировать реальность); неспособность различать свое действительное положение и множество воображаемых состояний своего сознания актуализирует идею семантики возможных миров.

Семантика возможных миров, то есть представление о том, что у настоящего может быть не одно, а несколько направлений развития в будущем (это, собственно, и составляет содержание понятия «возможные миры»), было, вероятно, в культуре всегда. Но оно обострилось в XX в. в связи с общей теорией относительности, с представлением о том, что время есть четвертое измерение и, стало быть, по нему можно передвигаться, как по пространству. Вообще же понятие возможных миров имеет логико-философское происхождение. Его придумал Лейбниц, который рассматривал необходимо истинное высказывание как высказывание, истинное во всех возможных мирах, то есть при всех обстоятельствах, при любом направлении событий, а возможно истинное высказывание — как истинное в одном или нескольких возможных мирах, то есть при одном или нескольких поворотах событий. Например, высказывания математики или логики « $a = a$ » или « $2 \times 2 = 4$ » являются необходимыми. Высказывание же «Завтра будет дождь» является возможным (у него есть альтернатива, что, возможно, дождя и не будет). В середине XX века, после второй мировой войны, логика разработала несколько семантических систем, где определяющую роль играло понятие возможных миров. С философской точки зрения важно, что в этих построениях *действительный мир рассматривается лишь как один из возможных*. Действительный мир не занимает привилегированного положения. Именно это представление было чрезвычайно характерным для культурного сознания XX в. Задолго до современной логики, в 20-е гг. прошлого века, японский писатель Акутагава привел пример философии возможных миров в рассказе «В чаще», в котором разбойник заманил в чашу самурая и его жену, а потом известно было только, что самурай убит. По версии разбойника (в его возможном мире), самурай убил он, по версии жены самурая, его убила она; по версии духа самого самурая, он покончил с собой.

Пафос философии возможных миров в том, что абсолютной истины нет, она зависит от наблюдателя и свидетеля событий.

В науке XX в. представление об альтернативном будущем играет большую роль. Так, например, русский лингвист-эмигрант А.В.Исаченко в свое время написал работу, посвященную тому, каким был бы

русский язык, если бы в политической борьбе Москвы и Новгорода победил Новгород, а не Москва.

В гипертимном гипоманиакальном дискурсе нельзя отличить действительный мир от воображаемого. Самый яркий пример — речь Остапа Бендера («Остапа несло») перед «васюкинцами»:

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в пронсящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках...

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.

Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот — все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Прходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского «Клуба четырех коней».

Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина.

Приветственные крики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем его матче с Алехиным.

<...>

Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации васюкинского транспорта. Особым постановлением она была переименована в коня, хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками.

— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Моск-

вы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

Приведем теперь примеры из книги Д.А.Пригова «Исчисления и Установления (стратификационные и конвертационные тексты)»:

И Жизнь, и Смерть, и Хельсинки, и Сантьяго, и удивительно. И Жизнь, и Ташкент и Смерть, и Нью-Хейвен, и Брайтон, и Парадоксы, Парадоксы, и Непонятное, и Вера, Вера, и Самарканд, и Смерть, и Бухара, и Тюмень, и Челябинск, и Сочи, и Жизнь и Смерть, и Распорядок, и Дикое, и Сумасшедшее, и Строгость, и Незабываемое, и Москва, и Москва, и Севастополь. И Москва, и Жизнь, и Москва, и Таллин и Тбилиси, и Незабываемое, и Москва, и Жизнь, и Смерть...

Я бы отдал себе посты

1. Президента
2. Премьер-министра
3. Первого зама
4. Председателя Совета безопасности
5. Министра обороны
6. Министра внутренних дел
7. Председателя ФСБ
8. Начальника президентской охраны
9. Советника президента по вопросам безопасности
10. Советника президента по финансовым вопросам
11. Советника президента по остальным вопросам
12. Начальника аппарата президента
13. Министра иностранных дел
14. Министра финансов, экономики, транспорта. Промышленности, культуры и по социальным вопросам
15. Начальника пограничной и таможенной служб
16. Председателя Госбанка
17. Директора всех частных банков и объединений
18. Директора Большого и Малого театров
19. И солиста Госфилармонии.

При этом совершенно не обязателен такой (у Пригова, конечно, просимулированный) психотический (маниакальный) тип высказывания.

Вспомним, например, Державина:

А я, проспавши до полудни,
Курю табак и кофе пью;
Преобращая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою:
То плен от персов похищаю,
То стрелы к туркам обращаю;
То, возмечтав, что я султан,
Вселенну устрашаю взглядом;
То вдруг, прельщаяся нарядом,
Скачу к портному по кафтан.
Или в пиру я пребогатом,
Где праздник для меня дают,
Где блещет стол серебром и золотом,
Где тысячи различных блюд;
Там славный окорок вестфальской,
Там звенья рыбы астраханской,
Там плов и пироги стоят,
Шампанским вафли запиваю;
И всё на свете забываю
Средь вин, сластей и аромат.
Или средь рощицы прекрасной
В беседке, где фонтан шумит,
При звоне арфы сладкогласной,
Где ветерок едва дышит,
Где всё мне роскошь представляет,
К утехам мысли уловляет,
Томит и оживляет кровь;
На бархатном диване лежа,
Младой девицы чувства нежа,
Вливаю в сердце ей любовь.
Или великолепным цугом
В карете английской, золотой,
С собакой, шутом или другом,
Или с красавицей какой
Я под качелями гуляю;
В шинки пить меду заезжаю;
Или, как то наскучит мне,
По склонности моей к преме,не,
Имея шапку набекрене,
Лечу на резвом бегуне.
Или музыкой и певцами,

Органом и волюнкой вдруг,
Или кулачными бойцами
И пляской веселю мой дух;
Или, о всех делах заботу
Оставя, ежу на охоту
И забавляюсь лаем псов;
Или над невскими брегами
Я тешусь по ночам рогами
И греблей удалых гребцов.
и т.д.

Ср. подражание Державину у Давида Самойлова:

Стол тесовый,
Покрытый белой скатертью, готов
Был распластаться перед Цыгановой.
В мгновенье ока юный огурец
Из миски глянул, словно лягушонок,
И помидор покинувший бочонок,
Немедля выпить требовал, подлец.
И яблоко моченое лоснилось,
И тоже стать закускою просилось.
Тугим пером вострился лук зеленый.
А рядом царь закуски — груздь соленый
С тарелки беззаветно вопиял
И требовал, чтоб не было отсрочки.
Графин был старомодного литья
И был наполнен желтизной питья,
Настоянного на нежнейшей почке
Смородинной, а также на листочке
И на душистой травке. Он сиял.
При сем ждала прохладная капуста,
И в ней располагался безыскусно
Морковки сладкой розовый торец.
На круглом блюде весело лежали
Ржаного хлеба свежие пласты
И полотенец свежие холсты
Узором взор и сердце ублажали.

Но для Самойлова характерны и гипоманикальные, и депрессивные части его поэтического сознания. Возьмем, например, такое стихотворение, как «Дом-Музей»:

Заходите, пожалуйста. Это
Стол поэта. Кушетка поэта.
Книжный шкаф. Умывальник. Кровать.
Это штора — окно прикрывать.
Вот любимое кресло. Покойный
Был ценителем жизни спокойной.
Это вот безымянный портрет.
Здесь поэту четырнадцать лет.
Почему-то он сделан брюнетом.
(Все ученые спорят об этом.)
Вот позднейший портрет — удалой,
Он писал тогда оду «Долой»
И был сослан за это в Калугу.
Вот сюртук его с рваной полрой —
След дуэли. Пейзаж «Под скалой».
Вот начало «Послания к другу»,
Вот письмо: «Припадаю к стопам...»
Вот ответ: «Разрешаю вернуться...»
Вот поэта любимое блюдо,
А вот это любимый стакан.
Завитушки и пробы пера.
Варианты поэмы «Ура!»
И гравюра «Вручение медали».
Повидали? Отправимся дале.
Годы странствий. Венеция. Рим.
Дневники. Замечанья. Тетрадки.
Вот блестящий ответ на нападки
И статья «Почему мы дурим».
Вы устали? Уж скоро конец.
Вот поэта лавровый венец —
Им он был удостоен в Тулузе.
Этот выцветший дагерротип —
Лысый, старенький, в бархатной блузе —
Был последним. Потом он погиб.
Здесь он умер. На том канапе,
Перед тем прошептал изречение
Непонятное: «Хочется пе...»
То ли песен? А то ли печенья?
Кто узнает, чего он хотел,
Этот старый поэт перед гробом!
Смерть поэта — последний раздел.
Не толпитесь перед гардеробом...

Здесь, напротив, пространство, которое по природе своей симуль-танно — все вещи в мире существуют одновременно, — описывается сукцессивно, что соответствует общему депрессивному тону стихотворения. Здесь одновременно разворачивается и гипертимически-маниакальный дискурс (вся жизнь поэта, как на ладони), и гипотимически-депрессивный — тема смерти, тшеты и необратимости времени. Назовем такой дискурс — *дистимическим*.

В качестве еще одного примера гипоманиакального дискурса приведем фрагмент знаменитого экспромта о носах Сирано де Бержерака в пьесе Ростана:

[Про самого Сирано сказано:

Как фейерверк блестящ и остроумен,
Забавен, эксцентричен, шумен

(Ростан, 1958, с.212)]

Тон эмфатический: “О чудеса природы!

О нос! Чтоб простудить тебя всего,

Не хватит ветра одного <...>”

Лирический: “Ваш нос труба, а вы тритон,
Чтобы участвовать в триумфе Амфитриты!”

А вот наивный тон:

“Прекрасный монумент! Когда для обозренья
Открыт бывает он?”

Тон недоверчивый: “Оставьте ухищренья!

К чему шутить со мной?

Отлично знаю я, что нос ваш накладной”

А вот вам тон умильный:

“Какою вывеской чудесною и стильной

Для парфюмера мог ваш нос служить!

Почтительный: “Давно ль, позвольте вас спросить,

Вы этой башнею владеете фамильной?”

(Ростан, 1958, с.230)

Здесь видна еще одна, пожалуй, даже самая важная черта приведенных примеров гипоманиакального дискурса — их импровизационность — это характерно для всех персонажей-гипоманиаков — Остапа Бендера, мистера Пиквика, д’Артаньяна, Кола Брюньона.

Пьеса Ростана — также образец дистимического дискурса, — в финале печальный Сирано, старый и сломленный, так и не добивается ответной любви Роксаны, как не добивается ее и еще один дистимический персонаж мировой литературы Ганс Касторп из

«Волшебной горы» Томаса Манна. Но зато на вершинах он в гипертимическом порыве так объясняется в любви своей даме, Клавдии Шоша:

— О, любовь, ты знаешь... тело, любовь, смерть — они одно. Ибо тело — это болезнь и сладострастие, и оно приводит к смерти, оба они — чувственны, смерть и любовь, вот в чем их ужас и их великое волшебство! Но смерть, понимаешь ли, это, с одной стороны, что-то позорное, наглое, заставляющее нас краснеть от стыда, а с другой — это сила, очень торжественная и величественная, — гораздо более высокая, чем жизнь, которая хохочет, наживает деньги и набивает брюхо, — гораздо более почтенная, чем прогресс, который болтает о себе во все времена; а смерть — это история, и благородство, и благочестие, и вечность, и то, что для нас священо, в присутствии чего мы снимаем шляпу и ступаем на цыпочках... То же самое относится и к телу: телесная любовь — это что-то неприличное, дурное, и тело своими покровами краснеет и бледнеет от страха и стыда перед самим собой. Но тело излучает также великое и божественное сияние, это чудотворный образ органической жизни, святое и дивное явление формы и красоты, в любви к нему, к человеческому телу, тоже выражается в высшей степени гуманитарный интерес к человечеству, и это — более мощное воспитательное начало, чем вся педагогика мира вместе взятая!.. О, завораживающая красота органической плоти, созданная не с помощью масляной краски и камня, а из живой и тленной материи, насыщенная тайной жизни и распада! Посмотри на восхитительную симметрию, с какой построено здание человеческого тела, на эти плечи, ноги и

цветущие соски по обе стороны груди, на ребра, идущие попарно, на пупок
посреди мягкой округлости живота и на тайну пола между бедер!
Посмотри, как
движутся лопатки на спине под шелковистой кожей, как опускается позвоночник
к двойным, пышным и свежим ягодицам, на главные пучки сосудов и нервов,
которые, идя от торса, разветвляются под мышками, и на то, как строение рук
соответствует строению ног. О, нежные области внутренних сочленений локтей и
коленей, с изяществом их органических форм, скрытых под мягкими подушками
плоти! Какое безмерное блаженство ласкать эти пленительные участки
человеческого тела! Блаженство, от которого можно умереть без сожалений! Да,
молю тебя, дай мне вдохнуть в себя аромат твоей подколенной чашки, под
которой удивительная суставная сумка выделяет скользкую смазку! Дай мне
благоговеино коснуться устами твоей Arteria femoralis, которая пульсирует в
верхней части бедра и, пониже, разделяется на две артерии tibia!
Дай мне
вдохнуть испарения твоих пор и коснуться пушка на твоем теле, о человеческий
образ, составленный из воды и альбумина и обреченный могильной анатомии, дай
мне погибнуть, прижавшись губами к твоим губам!

Тело — телесная любовь — самое главное для сангвиника. Если у эпилептоида мы наблюдаем тело без органов, и если у шизофреников это «дырчатое» ризоматичное тело, то у сангвиников мы наблюдаем культ тела в полном смысле этого слова, полнокровного «тела с органами» (кстати, именно потому циклоиды часто страдают ипохондрическими расстройствами).

Гипомания в дискурсе Пригова приобретает характер мегаломании.

В этом случае имеет место реализация *гротескного образа тела*. Прежде чем перейти к Пригову, рассмотрим два случая.

В случае доктора Йозефа Менделя, описанном Ясперсом, больной обладал утонченным интеллектом. Будучи юристом, он увлекся фило-

софией, читал Кьеркегора, Больцано, Рикерта, Гуссерля и Бренатно. Его психоз носил характер религиозного бреда с идеями величия, но не полного, тотального величия. Суть его бредового сюжета заключалась в том, что он должен был каким-то образом освободить человечество, наделить его бессмертием. С этой целью Верховный, Старый Бог сделал его Новым Богом и для придания ему силы он вселил в его тело тела всех великих людей и богов. Это вселение и было кульминацией психотической драмы:

Сначала для увеличения его силы Бог переселился в него и вместе с ним весь сверхъестественный мир. Он чувствовал, как Бог проникал в него через ноги. Его ноги охватил зуд. Его мать переселилась. Все гении переселились. Один за другим. Каждый раз он чувствовал на своем собственном лице определенное выражение и по нему узнавал того, кто переселялся в него. Так, он почувствовал, как его лицо приняло выражение лица Достоевского, затем Бонапарта. Одновременно с этим он чувствовал всю их энергию и силу. Пришли Д'Аннунцио, Граббе, Платон. Они маршировали шаг за шагом, как солдаты. <...> Но Будда не был еще внутри него. Сейчас должна была начаться борьба. Он закричал: "Открыто!" Тотчас же он услышал, как одна из дверей палаты открылась под ударами топора. Появился Будда. Момент "борьбы или переселения" длился недолго. Будда переселился в него (*Яснерс*, 1996, с.195-196).

Настоящий случай интересен тем, что он приоткрывает механизм возникновения величия или, по крайней мере, один из возможных механизмов — представление о чисто физическом "переселении" в тело большого тел великих людей и Богов, чтобы потом можно было сказать "Я — такой-то". Впрочем, этого больной не говорит, поскольку его бред не является типичным бредом величия. Здесь нет в строгом смысле экстрактивной идентификации. Здесь происходит даже нечто противоположное и в логическом смысле парадоксальное. А именно — имеет место как будто бы интроекция, но интроекция не на уровне сознания, не на уровне интенционалов, а, так сказать, в "прямом смысле", на уровне экстенционалов, на уровне тел: больной интроецирует в свое тело тела великих людей и богов. Происходит своеобразная "экстрактивная интроекция".

Отметим также еще два важных момента. Во-первых, несмотря на то, что благодаря двойной ориентации больной, по-видимому, сохранял сознание своего "Я", его уникальности, понимая, что он остается доктором Йозефом Менделем, пусть даже ему приходится выступать в роли "Нового Бога", так же, как и в случае пациентки Юнга,

даже в еще большей степени, он отождествляет свое тело и свое “Я” с телами и “Я” (сознаниями) всех переселившихся в него людей и всей вселенной:

При всех этих процессах его “Я” больше не было личным “Я”, но “Я” было наполнено все вселенной. <...> Его “Я” было здесь, как прежде, не индивидуальным “Я”, но “Я” = все, что во мне, весь мир” (*Ясперс*, 1996, с.198, 202).

Второй важный момент заключался в представлении о том, что Бог (“Старый Бог”, “Верховный Бог”) лишен обычных для верующего или богослова черт — всемогущества, всеведения и нравственного совершенства. Этот Бог несовершенен. Этот Бог “ведет половую жизнь”, Богу можно досаждать, чтобы он “уступил”, как-то на него воздействовать, у него меньше власти, чем у дьявола, его можно было “назначать властвовать”, как на должность.

Все это напоминает знаменитый “случай Шребера”, бредовую систему дрезденского сенатского президента, описавшего и опубликовавшего свою бредовую концепцию (“Мемуары нервнобольного”), которая много раз анализировалась психиатрами и психоаналитиками, начиная с самого Фрейда. Одним из ключевых положений системы Шребера, который так же вступал в чрезвычайно тесные и запутанные отношения с Богом, являлось то, что Бог очень плохо разбирается в человеческих делах, в частности, не понимает человеческого языка. Шребер был посредником между Богом и людьми. В сущности, в его системе, которая была настолько сложной, что ее невозможно подвести под какую бы то ни было классификацию, основной мегаломанический компонент заключался в том, что Шребер считал себя единственным человеком, оставшимся в живых для того, чтобы вести переговоры с Богом, тогда как все другие люди были мертвы. Он должен был спасти человечество. Для этого ему было необходимо превратиться в женщину (то есть пожертвовать своей идентичностью), чтобы стать женой Бога (в этом, собственно, и был своеобразный элемент величия в системе Шребера).

И второй характерный момент заключался в том, что бредовые пространственные перемещения Шребера позволяют говорить о его теле, как и о теле “стандартного мегаломана”, как о равном вселенной. Это замечает Канетти, говоря о Шребере, что «в космосе, как и в вечности, он чувствует себя, как дома. Некоторые созвездия и отдельные звезды: Кассиопея, Вега, Капелла, Плеяды — ему особенно по душе, он говорит о них так, как будто это автобусные остановки за углом. <...> Его зачаровывает величина пространства, он хочет быть таким же огром-

ным, покрыть его целиком. <...> О своем теле Шребер пишет так, как будто это *мировое тело* (курсив автора. — В.Р.)» (Канетти, 1997, с.465).

Характерное для рассмотренных случаев представление о теле мегаломана как о мировом теле — есть репродукции мифологической идеи тождества микрокосма и макрокосма.

Космогоничность разобранных выше примеров позволяет выдвинуть гипотезу, в соответствии с которой мегаломанический сюжет с телом, отождествляемым со всеми великими людьми и всей вселенной, является проигрыванием сюжета первотворения. Соответственно, мегаломаническое “грандиозное тело”, равное всей вселенной, — это тело первочеловека, из которого творится макрокосм, тело, которое отдается в жертву сотворяемому миру и из которого этот мир и творится.

Логика этого отождествления следующая: мегаломан в “идеале” в своей экстраективной идентификации — это бог, но, как можно было увидеть из наших примеров, не Верховный бог, а скорее младший бог, бог-сын³. И в этом смысле задача младшего бога — либо просто осуществить волю Верховного бога (как в случае доктора Менделя), либо исправить его ошибки (как в случае Шребера). Эта задача, в сущности, и сводится к тому, чтобы создать некий новый мир, новую вселенную, потому что мегаломан и в бредовом, и в объективном смысле остается совершенно один. В бредовом смысле все человечество погибло, в объективном смысле он коммуникативно отрезан от реальных объектных отношений. Кроме него в мире никого нет⁴. Есть только Старый бог, который уже плохо соображает или даже уже вообще умер (как в мегаломаническом проекте Ницше, о котором см. ниже). Поэтому единственное спасение — это создать мир заново, пожертвовать себя миру, как и должен поступать младший бог, бог-сын христианской традиции, умирающий и воскресающий бог архаического мифа. И у мегаломана есть для этого ресурсы: ресурсы его бредового величия и всемогущества. В результате мегаломан создает бредовую новую вселенную практически в прямом смысле “из себя”, из своего экстраективно-бредового тела, уподобляясь в этом первочеловеку. Ср.:

Первочеловек — космическое тело, в мифопоэтических и религиозных традициях антропоморфизированная модель мира. В основе этого образа лежит представление о происхождении вселенной из тела перво-

³ Понятно, что это тем или иным образом соотносится с эдипальной динамикой.

⁴ Это, кстати, одна из возможных мотивировок прекращения бреда преследования — преследовать мегаломана больше некому.

человека, объясняющее характерный для мифопоэтической картины мироздания параллелизм между микрокосмом и макрокосмом, их изоморфизм, однородность. Иногда в космологических текстах говорится о том, что члены тела первочеловека создаются из соответствующих частей вселенной, но чаще человеческое тело выступает как первичное и исходное, а космическое устройство как вторичное и производное. <...> В раввинистической литературе Адам изображается как первочеловек огромных размеров: в момент сотворения его тело простиралось от земли до неба, заполняя собою всю землю. <...> В средневековом мистическом тексте “*Sefer chassidim*” повествуется о том, как бог уменьшил размеры тела Адама, заполнявшего собою весь мир, последовательно отсекая от его членов и разбрасывая куски плоти по всему миру (*Топоров*, 2000, с.300).

Ср. также представления о конкретных перволюдях, например, Пуруше и Пань-Гу, макрокосмические тела которых расчленились, приносясь таким образом в жертву миру, в основу его творения.

Отзвуки идей жертвенности, соотносимых с диалектикой величия и преследования, мы находим во всех разобранных нами примерах, особенно явственно в случае доктора Менделя. В юнговских материалах, описывающих случай слабоумной портнихи, мы находим даже фрагмент, где большую роль играет идея расчленения тела:

Стюарт: я имею честь быть фон Стюарт — когда я однажды это затронула, доктор Б. сказал: ей ведь отрубили голову <...> это опять-таки величайшая в мире трагедия — наше высшее Божество на небе, римский господин St. (собственное имя пациентки) высказался с проявлением сильнейшего горя и негодования, вследствие отвратительного смысла мира, где ищут смерти невинных людей — моя старшая сестра должна была так невинно приехать сюда, чтобы умереть — после этого я видела ее голову с римским Божеством на небе — ведь отвратительно, что всегда является такой мир, ищущий смерти невинных людей — С. вызвала во мне чахотку — когда я увидела ее лежащей на похоронной колеснице <...> и Мария Стюарт тоже была такой же несчастной, которой пришлось умереть невинно (*Юнг*, 2000, с.144).

По-видимому, здесь уместно вспомнить также архаические представления, связанные с культом умирающего и воскресающего бога (Осириса, Диониса, Фаммуза), архаического варианта мифа о первотворении и первочеловеке. Здесь также имеется диалектика смерти и воскресения, соотносенная с диалектикой величия и преследования и, более того, актуализации этих представлений, позволяет уяснить мифологическую мотивировку и увязку этой соотношеннос-

ти: бога-мегаломана, тело которого соотносится с телом вселенной, в частности в растительном, аграрном варианте этого представления, преследуют, чтобы умертвить, принести в жертву, чтобы он потом воскрес во всевеличии, соотнесенном с величием обновленного в природном круговороте мира, поэтому столь обычным в мегаломаническом мире оказывается сюжет отождествления с Христом как позднейшим отголоском культа умирающего и воскресающего страдающего бога и отсюда противопоставления Отца, Верховного (старого) Бога Богу-сыну, страдальцу, избраннику и жертве, то есть самому больному.

Такого рода космическую жертвенность находим и в поэзии Пригова. Его лирический субъект сравнивает себя с великими людьми:

В Японии я б был Катулл, а в Риме был бы Хокусаем.

Объявляет себя спасителем мира:

Я глянул в зеркало с утра
И судорога пронзила сердце:
Ужели эта красота
Весь мир спасет меня посредством...

Он ведет диалог с богом:

Бог меня немножечко осудит
А потом немножечко простит
Прямо из Москвы меня, отсюда
Он к себе на небо пригласит
Строгий. Бородатый и усатый
Грозно взглянет он из-под бровей:
Неужели сам все написал ты? —
Что Ты, что Ты. С помощью Твоей!
— Ну, то-то же.

Наконец он призывает к поеданию своего тела, что напрямую соотносится с рассмотренными выше случаями:

Вот ешьте меня, пейте — пропадай
Душа! — а от тебя кусочек
Отломают лишь, а прочее гуляй
Во поле.

Депрессия десемiotизирует реальность, она придает событию статус чего-то внесемiotического, реально-бессмысленного. Поэтому она

парадоксальным образом вторично семиотизирует эти события и факты в параноидном сознании. Она приравнивает реальные объекты и иллюзорно-галлюцинаторные как одинаково не имеющие смысла и, в то же время, одинаково реальные. В этом смысле бредовая депрессивная окраска задает неповторимый мрачный ритм безвыходного повторения надвигающихся ужасных событий, она их овеществляет. Это как если бы человек читал или писал детективный роман и при этом ощущал происходящее в нем не как свободный полет его или автора фантазии, а как реально происходящие события. Себя же он при этом чувствовал бы не как читателя или писателя, наблюдающего извне за игрой символов, а являлся бы непосредственным участником этих эстетических событий. Депрессивная окраска придает бредовым событиям статус достоверности, что необходимо и для нормального (хотя и не до такой степени) эстетического переживания художественного дискурса.

В этом смысле закономерно, что при нарративно-прозаическом параноидном бредовом творчестве играет роль депрессивная окраска, а при поэтически-риторическом парафренном — эйфорическая, гипоманиакальная окраска. Ведь особенностью поэтического лирического произведения является то, что оно не требует той интенциональной эстетической верификации, которой требует нарративное прозаическое произведение. То есть парафренику депрессивная окраска не нужна. Для него не требуется факт верификации того, что происходящее с ним является истинными событиями, что так важно при параноидном фабулярном бреде. Потому что с парафреником уже практически ничего и не происходит. Его мир статичен, как статичен мир лирической поэзии, например, оды. Он может только восхвалять себя, свое несметное богатство, знатное происхождение или высокое мессианское призвание. То есть получается, что депрессивная окраска — необходимый компонент наррации, а эйфорическая окраска — лирики. Конечно, могут быть и печальные стихи, например, элегия, где депрессивная окраска является обязательной. Но это уже не та бредовая депрессия, и это, в сущности, не окраска — это та подлинная невротическая или эндогенная печаль-траур, которая невозможна в бреде. Парафреник вряд ли может быть настроен элегически, элегия — невротический регистр творческого сознания. Для парафреника нужна ода, эпиграмма, инвектива, что-то необыкновенно приподнятое и возвышенное. Потому что аффект в бреде всегда поляризуется и становится гротескно заостренным.

ЛИТЕРАТУРА

Канетти Э. Масса и власть. — М., 1997.

Руднев В. Повторение и обсессия // Московский психотерапевтический журнал. № 2, 2008.

Топоров В.Н. Первочеловек // Мифы народов мира. Т. 2. — М., 2000.

Юнг К.Г. Труды по психиатрии. — М., 2000 <1907>.

Ясперс К. Избранные труды по психопатологии. Т. 2. — М., 1996.